

## “РУССКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПРАЗДНИКА” В “КРЕСТЬЯНСКИХ” РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА 1910-х ГОДОВ

© 2007 Т.И. Скрипникова

Воронежский государственный университет

Ключевыми онтологическими понятиями прозы И. А. Бунина являются понятия “бытие” и “быт”, которые, несмотря на их сущностное различие, глубоко и кровно связаны между собой. Заметим, что “быт” и “бытие” — слова однокоренные. В словаре В. И. Даля бытие определяется как существование, пребывание вживе, жизнь. “*Бытие наше земное, не чета небесному*” [3, I, 148]. Для нас важно разграничение понятий “бытия земного” и “бытия небесного”: “бытие небесное” как подлинное бытие есть вполне определенный идеал, в свете которого жизнь человеческая как “бытие земное” всегда неподлинна. Вместе с тем само слово “бытие” в силу своего библейского происхождения уже содержит четкую положительную доминанту, отсюда и возникло достаточно распространенное противопоставление бытия и быта. Однако оно имеет смысл прежде всего, возможно, и единственно для русского сознания, для которого характерно восприятие быта как исключительно отрицательной коннотации. Отсюда и возникает “вечно русская потребность праздника”, как писал И. А. Бунин, необходимая для преодоления тягот быта. В этом отношении в его прозе о русском крестьянстве прослеживается вполне заметная эволюция.

Жизнь крестьян в рассказах И. А. Бунина, что особенно наглядно в ранних произведениях писателя, бытийна уже по определению, так как крестьянин, “осуществляя свое бытие” земное — волей Божьей данное “бытование”, непосредственно имеет дело с основами бытия в изначальном библейском смысле слова — землей, природой, добыванием в поте лица своего “хлеба насущного”. Отсюда столь характерное для ранней прозы Бунина соотношение жизни крестьянина, его быта с календарной жизнью природы и с православным календарем. Именно крестьянин не должен тяготиться бытом, буднями, так как и быт крестьянина, в житейском смысле тождественный жизни, укоренен в бытии.

В ранних произведениях писатель не делает четкого акцента на понятии “будни”, там повседневность, бытовое гармонически сосуществует с сакральным, не порождая конфликта между бытовым и бытийным. “Отживший человек”, старый крестьянин Кастрюк вновь чувствует себя “вписанным” в привычный круговорот жизни, когда он вечером с благоговением молится на небо (“Кастрюк”). Человеческая жизнь кажется значительной и отождествляется с жизнью природы для Капитона Иваныча (“На хуторе”), проезжих мужиков из голодающих деревень (“На чужой стороне”), переселенцев (“На край света”), смиренного Мелитона в одноименном рассказе, странника (“Птицы небесные”), несмотря на трагичность их судеб живущих в гармонии с миром, а поэтому существующих уже на бытийном уровне. “*Не скушно, а хорошо*” жить природному человеку Митрофану (“Сосны”). Мысль о соединении “с предвечной тишиной” природы не покидает героя рассказа “Тишина”.

В произведениях 1907–1916 гг. все резко меняется. Большую роль в этом сыграли трагические события рубежа веков, эпохи “перелома”. Произведения 1907–1916 гг., написанные Буниным в период его творческой зрелости, относятся к сложному периоду в истории России, ознаменованному кровавыми революционными событиями, трагическими событиями Первой мировой войны. И. А. Бунин не пишет о них прямо, но бесследно это для творчества писателя не проходит. Революционные события побудили Бунина к особо интенсивным размышлениям над характером русского народа и русской истории. Раздумья эти занимали его давно, но лишь через несколько лет после первой революции были созданы произведения, которые можно считать зрелым плодом этих размышлений — повесть “Деревня” и последовавшие за ней так называемые “крестьянские рассказы”. Эти произведения — прямое свидетельство того, как по-новому от-

крылся для него русский народ, национальная стихия.

В отличие от ранних произведений, трагизм прозы Бунина 1910-х годов, на наш взгляд, проистекает от того, что крестьяне лишаются укорененности. Происходит попрание человеком глубинных жизненных основ бытия — главных святынь человечества: веры, отечества, земли, отчего дома, родителей. Недаром о главном герое рассказа “Веселый двор” (1911) Егоре Бунин пишет: *“Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины”* [1, III, 280]. Тихон Красов также пренебрежительно относится к своим родителям: *“Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью...”* [1, III, 53]. Утратившие способность воспринять нетленно сущностные основы, герои крестьянских рассказов 1910-х годов теряют главное — ощущение радости бытия, столь важного с точки зрения онтологического миропонимания Бунина. Отсюда ощущение жизни у героев как неподлинного бытия, а вместо “повышенного чувства жизни”, рождающего “повышенное чувство радости и полноты бытия”.

Одной из удивительных черт русского характера, которой не устают поражаться Бунин, является неспособность к нормальной жизни, экзистенциальная тоска и отвращение к будням. По мнению писателя, русскому человеку особенно присуще острое чувство бессмысленности и бренности человеческой жизни. *“Он постоянно тяготится жизнью, устремлен к запредельному и способен в любую минуту на самые неожиданные, странные и никак не предсказуемые поступки”* [5, 164]. Самым частотным словом в произведениях писателя 1910-х годов становится слово “будни”. В прозе этого периода создается образ будничной жизни с характерной для него системой мотивов: пыли, тоски, скуки, духоты, грязи, сумрачности, не случайно в связи с этим и появление рассказа с названием “Будни”, где эти мотивы доминируют: *“Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел...”* [1, IV, 87]. *“Скучно синело по горизонтам низкое облачное небо...”* [1, IV, 91]. *“А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!”* [1, IV, 94].

Тяготится буднями и скукой и Егор — герой рассказа “Веселый двор”: *“Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни... после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично...”* [1, III, 293]. *“Буднично шумели, галдели без толку грачи...”* [1, III, 297]. *“Пил он и на другой день и на третий... По-*

*том снова наступили в его жизни будни. Эти будни были уже не те, что прежде”* [1, III, 309].

Для героя повести “Деревня” Кузьмы в жизни *“...страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой размывается на мелочи...”* [1, III, 70]. А другой главный герой повести Тихон Красов *“...чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле”* [1, III, 19].

Подобные характеристики будничной жизни рассыпаны во многих произведениях этого времени: *“Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете...”* [1, IV, 132]; *“В будни он тупеет от скуки, от долгого сна...”* [1, IV, 227]; *“Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете... Большие серые брови Авдея сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска”* [1, IV, 86]; *“И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертную тоску, смешанную со злобой... О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге...”* [1, IV, 46]; *“И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната”* [1, IV, 19]; *“...Была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!”* [1, IV, 237].

В изображении русской жизни перечисленные мотивы оказываются доминантными, становясь уже не просто характеристиками быта, но обретают онтологический статус качества, окрашивающего собой жизнь. При таком отношении к жизни основное желание русской души — “выход” из будней в иное измерение: *“Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью... как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд!”* [1, VI, 83].

Понятие праздника в произведениях Бунина сложно и многоаспектно. Оно может включать в себя традиционное понимание праздника, чаще всего в крестьянской среде проходящего на ярмарках, приуроченных к какому-то знаменательному православному календарному дню. *“В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей”* [1, III, 18]. *“Ежегодно пятнадцатого июля, на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка... С раннего утра 15 июля они (торгаши) уже стоят за прилавками, заваленными жамками, рожками и красным товаром, а мужики с бабами и ребятишками едут и едут... а надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит праздничный звон к обедне...”* [1, IV, 227]. Однако на ярмарке человек не чувствует радости и веселья, душевного освобождения от каждодневных забот. Ярмарка

как праздник обманывает надежды, а само веселье оказывается реализацией томления, некой призрачной надежды на что-то лучшее, но надеяться, собственно, не на что и не на кого:

*“На выгоне налаживалась ярмарка...  
– Гуляет народ, – задумчиво сказал Меньшов.  
– Это с какой радости? – спросил Кузьма.  
– Надеется...  
– На что?  
– Известно, на что... На домового!”*

И. Бунин подчеркивает “трагическую мрачность” как признак русского праздника, являющегося одной из форм выражения все той же экзистенциальной тоски. В “Грасском дневнике” Г. Н. Кузнецова вспоминает об этом слова писателя: *“Это зависит от свойства русского человека. Я много писал об этом. И все остальное происходит отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет на праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах... Все в нас мрачно...”* [4, 127].

Особое внимание И. А. Бунин уделяет праздникам как знаменательным дням православного календаря. В раннем творчестве писателя православный праздник понимался как день, данный не для праздности, т. е. не только и не столько для отдыха тела, сколько для внутренней работы души, для благодарения Богу и сокровенного общения с ним души. В этом аспекте праздник является бытийной категорией. Так, например, в рассказе “На чужой стороне” внешне нарушена целостность и гармония с универсумом из-за отрыва от родных корней: проезжим мужикам некуда было пойти и приготовиться к празднику Светлого Христова Воскресения. Но разрыв связи с родным местами не мешает героям в темноте у здания вокзала с горячей молитвой обращаться к Богу в светлый праздник и хотя бы на короткое время забыть о горечи земной жизни.

Из сознания героев произведений Бунина 1910-х годов уходит истинное понимание религиозного праздника как источника духовной радости и духовного веселья, хотя и в этих рассказах часто упоминаются религиозные праздники, которые испокон века были значимыми вехами крестьянской жизни: *“...И с начала Петровок уже пошли косить...”* [1, IV, 366]; *“В воскресенье на Фоминой, как опять-таки ведется спокон веку, молятся в поле, на озимях...”* [1, IV, 112]; *“Был канун прощенного дня”* 1, 4, 9]; *“Работники сытно поужинали, – был праздник, Успенье...”* [1, IV, 257]. Однако в повестях и рассказах 1910-х годов все чаще фиксируется происходящий в этот период исторической жизни процесс утраты веры в Бога, подлинной веры или подмены

ее. Вера, как и многие другие ценности, все более уходит в прошлое, все реже встречается на фоне общего вырождения и оскудения. Бунин все чаще показывает русского мужика невежественным и далеким от подлинной веры. И даже те мужики, кто выглядят наиболее набожными, на самом деле далеки от веры, зачастую подменяя ее верой в темные силы. Так, герой одноименного рассказа Ермил, живя “с камнем за пазухой”, озлобился на людей, поэтому Святки для него не самое светлое праздничное время, а темное, страшное время, подходящее для придуманного им “сценария” убийства. Молитва “дощечке” (а не иконе) “невидящим” и неверящим взором – не показатель глубины веры, а лишь привычное дело, предвещающее настоящую “серьезную работу”, его мысли: *“...А что, если и его вот так-то удавят?.. а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле... не бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами...”* [1, IV, 50-51].

Герой повести “Деревня” Аким “совмещает” в себе веру православную с язычеством, отсюда для него подлинное существование Бога – такая же “непреложная” истина, как и вера в наличие нечистой силы: *“Вот он Аким молится – и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!.. Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает...”* [1, III, 90]. Расчетливый и хозяйственный Тихон Красов, “откупающийся” от Бога лептами и “благими” деаньями, также не имеет в душе подлинной веры, отсюда его кощунственные сопоставления своей жизни с жизнью святых, нелюбовь к церковным лампадкам, к *“их неверному церковному свету”*.

Без веры живет и Кузьма, главным образом потому, что “не научен”: *“...Ничего о нем не знаю и думать не умею!”* [1, III, 122]. Оставшаяся в его памяти сцена из детства походит скорее на страшный языческий обряд погребения, нежели на молитву о плодородии: *«...Шли, белея в темноте рубахами, “девять девок, девять баб, десятая удова”, все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила: “Ты, коровья смерть, / Не ходи в наше село!”»* [1, III, 93].

Однако, в отличие от других персонажей “Деревни”, главные ее герои Тихон и Кузьма Красовы задумываются о своем существовании

и осознают ужас неверия. «*Какой там господь!.. Какой господь может быть у Дениски, у Акима, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?*» – с горечью вопрошает Кузьма» [1, III, 122]. Душа Тихона также продолжает жить своей мрачной, “хмурой и тоскливой” жизнью и прозревает собственное убожество: “*Не до леригии нам, свиньям!*” Но их тоска и внутренняя рефлексия рождают не жажду обрести подлинную веру, а еще большую тоску. Отсюда возникает то чувство тупика и безысходности, которое наиболее усиливается к концу повести.

Знаковым становится для произведений этого периода мотив подмены иконы как главного религиозного символа православия “дощечкой”, что символизируют утрату подлинного смысла и трепетного отношения к иконе как к святыне. Единственное, во что искренне верит Ермил, герой одноименного рассказа, – это темные силы: “*Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его был не возле бога... Он всю жизнь полагал, что верит в бога, но только полагал. Темная сила – другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке!*” [1, IV, 52]. Вместо иконы у возгавии гроба – картинка: “*...Пестрела яркими красками лубочная картина – продажа братьями Иосифа*” [1, III, 114]. Герой рассказа “Веселый двор” Егор пользуется иконой лишь для того, чтобы накрывать горшки. Никифор (“Сказка”) обокрал церковь и пропил складни в шинке на большой дороге. Этот длинный ряд примеров можно было бы продолжить.

Именно поэтому отсутствие подлинной веры или подмена ее приводит крестьянина к поиску “праздника” жизни как способу выхода из будней, в другой плоскости, что неминуемо влечет за собой извращение форм человеческого сознания. Бунин, едва ли не первый из писателей XX века, отмечает, что вера в душе русского человека заменяется формами умопомрачительного языческого разгула. Недаром он пишет: «*Не родственно ли с этим “веселием” и юродство, и бродяжничество, и радения, и саможигания, и всяческие бунты...*» [1, VI, 84]. Следуя за логикой писателя, попытаемся рассмотреть эти данные самим автором “формы” праздника, художественно изображенные в произведениях 1910-х годов.

Свойственные славянской натуре чувственность, жажда упоения жизнью нередко оборачиваются игрой, принятием на себя личин и ролей, которое впервые заметил Ю. Мальцев. Бунинские герои постоянно играют “роли”: Егор, “*...глядя в гроб, крестился размашисто и часто.*

*Он играл ту роль, что полагалось ему у гроба матери... Но далеки были его мысли*” [1, III, 309]. Дурочка Фиона “*...стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась*” [1, IV, 15]. Старик, “*...увидав проходящего... поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, – взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо*” [1, III, 75].

Но особенно поразительно раскрывается это желание играть роли у столь притягивающих внимание И. А. Бунина русских юродивых. В. Н. Муромцева-Бунина в “Беседах с памятью” вспоминает, как всегда загорались глаза у писателя при виде “божьих людей” на ярмарках и праздниках. Само слово “юродивый” семантически берет начало от слова “урод”. Юродивые обладают достаточно устойчивым набором признаков, относящихся к внешности, одежде и поведению. Наличие физического уродства вполне типично для канонического юродивого. В рамках религиозного подвига оно усугубляет страдания спасающегося и тем самым предоставляет дополнительную возможность спастись. Внешнее уродство как непохожесть на общепринятое призвано было подчеркнуть внутреннюю святость, так как это юродство во Христе. Юродивый по определению призван как бы играть роль, однако эта “роль” предназначена ему Богом как напоминание людям, обманывающимся благами неподлинного бытия, о ценностях и благах бытия истинного, которое, как и сам юродивый, “не от мира сего”. Но оборотной стороной истинного юродства всегда в России было лжеюродство как своеобразный парадокс и особый феномен в жизни русского народа, которому Бунин пытается дать свое объяснение.

В лжеюродстве и проявилось, по мнению писателя, особая, “артистическая” природа русского человека, его потребность праздника. В бунинских рассказах лжеюродивые, играющие роль “пророков”, движимы вовсе не пламенной верой, а побуждениями гораздо более низменными и странными. Так, в рассказе “Я все молчу” писатель рисует целую галерею таких “божьих людей”, калек, бывших, по всей вероятности, до поры до времени вполне нормальными людьми и ведших вполне обычный образ жизни и вдруг неожиданно порвавших с обыденностью (“проклятыми” буднями), превратившихся в нищих бродяг, одевшихся в рубища и вериги: «*Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, – и трагическим и скоморошеским, – Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах*

да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! <...> Есть горбуны, клипоголовые, как бы в острых тапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть... И все это, напоказ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древнецерковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который, в жажде нищеты и мученичества, ушел из-под отчего крова “ня знамо куда...”» [1, IV, 229–230].

С особой силой нарисован писателем в этом рассказе образ “божьего человека” — Шаши, сына разбогатевшего мужика Романа, имевшего лавку, мельницу, который уже в ранней молодости начинает тяготиться благополучием и определенностью своей жизни, начинает примерять разные роли. Например, “роль человека, чем-то кровно оскорбленного”. На собственной свадьбе, “притворяясь пьяным, убедив себя, что он адски приревновал свою молодую жену к одному молоденькому помещику, он внезапно наступил во время вальса ей на шлейф, с треском оторвал его. А затем кинулся к ножу, пытался зарезаться и, будучи обезоружен, дико рыдал...” [1, IV, 225]. Ежегодно 15 июля, на престольный праздник Кирики Шаша идет на ярмарку, чтобы быть избитым там мужем солдатки, что была его любовницей. “В будни он тупеет от скуки, от долгого сна... нынче же — праздник, нынче он будет играть перед огромной толпой, нынче он будет страшно, до беспмятства избит на глазах этой толпы — и вот он уже входит в свою роль, он возбужден, челюсти его крепко сжаты, брови искажены” [1, IV, 227–228]. И, наконец, разорив до конца все состояние отца, Шаша становится нищим бродягой и проводит дни свои на церковной паперти среди других лжеюродивых.

И. Бунин показывает разные психологические типы “странных людей”, особенно густо рассыпанные в повестях “Деревня” и “Суходол”. Так, Макарка-странник, будучи отпетым вором и мошенником в реальной “будничной” жизни, вдруг “прославился прорицаниями” настолько зловещими, «что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, запынно затянет “со святыми упокой” или подаст кусочек ладану, шепотку пыли — и уже не обойтись тому дому без покойника» [1, III, 50–51]. Юродивый Дроня тоже играет роль “блаженного”, хотя в обычной жизни он — просто пьяница, который “стукается” головой в стену и с “радостным лицом отскакивает” [1, III, 176]. “Дура-

чок” Тимоша Кличинский, уродливый и задыхающийся от полноты, всегда полон предчувствий неминуемой беды. «“Бяда!” — бормотал он... Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то... Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку...”» [1, III, 177]. Бродяга, рассказчик похабных историй, “любимец публики”, Юшка выбрал такую жизнь потому, что “пахать” показалось ему “непристойно и скучно” [1, III, 178].

Не менее чем сами лжеюродивые, поражает Бунина отношение к ним народа, которое можно определить как восторженная симпатия. Ничто не умаляет народную любовь к ним: ни ничемность их прорицаний, ни сомнительность их исцелений, ни их явное шарлатанство и притворство. При этом особенность русской жизни состоит именно в том, что многие люди иногда ведут себя не менее странно, нежели “лжеюродивые”. Так, в повести “Суходол” наиболее активно взаимодействует с юродивыми тетя Тоня. Ее поведение странным образом во многом схоже с поведением упоминаемых выше “божьих людей” Тимоши Кличинского и Дрони. “Она кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом”, с Тимошей они словно переговариваются на равных, оба кричат с повышенной эмоциональностью, близкой к истеричности. Причем на тетю Тоню Наташка уже не может смотреть как на юродивую — “тупо и жалостно”, так как ее поведение вызывает откровенный страх, потому что это уже не “игра”, а самое настоящее, такое пугающее в быту сумасшествие.

Особой, извращенной формой преодоления будней становится в рассказах И. Бунина 1910-х годов неординарная попытка самовыражения, нередко приводящая к преступлению. Так, в рассказе “Ермил” слово “жуть” становится ключевым, определяющим весь последующий ход событий: “Вам Святки идут, веселье... а мне — жуть...” [1, IV, 55]. Не случайно, что жуткое событие происходит во время светлого православного праздника. Герой, влекомый темными силами, озлобленный на весь род людской, живущий в стороне от людей с “камнем за пазухой”, придумывает “сценарий” преступления как выход из той мрачной будничной жути жизни, где “...зловеще шумел лес в те черные, непроглядные ночи... среди безграничного моря тьмы” [1, IV, 49]. Происходит трансформация идей, подмена понятий, где подготовка к ожидаемому светлому празднику, нарушающая привычное течение будней, есть не что иное, как подготовка к жуткому запланированному преступлению: “И Ермил стал готовиться к ним (к Святкам. — Т.С.)... молился и принимался за работу — вернее, за думы” [1, IV, 51].

Все это привело к тому, что герой, все больше “входя во вкус” страшных и преступных мыслей, уже не мыслит себе иного исхода, нежели преступления, где злодеем на деле оказывается он сам. Отсюда мысли о преступлении вызывают успокоение и “довольство” тем, *“как ловко”* он все придумал, без этого дальнейшая “спокойная” жизнь Ермила была бы невозможна. *“Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том”* [1, IV, 54]. Страшнее всего то, что в двойственной натуре, в этой загадочной русской душе мужика Ермила, темное, преступное граничит со спокойствием, трудолюбием и усердием. Отсюда то “приятное впечатление”, которое он произвел на всех в суде. Даже внешне *“приживясь к Богу”*, устроившись в монастыре, он не становится монахом, братом во Христе, ибо фразу *“дюже преступный”* он произносит не с должным для этого раскаянием и болью, а с *“удовольствием”*, опять-таки с тем же жутким “довольством” собой, с которым он “работал” над исполнением преступного плана.

В рассказе “Ночной разговор” гимназиста, *“увлекшегося изучением мужиков”*, поражает не столько рассказы о страшных и жестоких убийствах, совершенных вследствие беспечности и небрежности как к жизни чужой, так и к жизни своей, сколько та легкость и даже удовольствие от содеянного в рассказах беспечных убийц. Это, на наш взгляд, также определяется удивительным качеством русского человека, у которого безразличие к смерти и небрежность к жизни характеризуется некой неземной, “оторванной от ненавистных будней невесомостью и легкостью” [5, 168]. Следует отметить, что здесь особую роль в тексте играет наличие восклицательных знаков (один из любимых Буниным знаков препинания), которые подчеркивают эту мнимую беспечность героев и “довольство” собой и содеянным. Так, Федот убивает человека *“из-за ничтожности”* — из-за своей козы. О совершенном преступлении он рассказывает тоном, полным хозяйственного огорчения, *“что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца”* [1, III, 268]. Об убийстве козы он рассказывает с нескрываемым удовольствием за свою ловкость: *“Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскочила, да как зашуршит вниз по крыше!”* [1, III, 272]. Не случайно человека Федот убивает, как и животное, с одинаковой легкостью и знанием “дела”: *“Я выскочил с бруском от косе, да с горяча — раз его в голову!”* [1, III, 275]. Все мужики предстают в рассказе с гипертрофированным чувством преступного и запретного.

Озлобленность русского мужика как выход из будней может проявляться не только в жесто-

ком отношении друг к другу, но и выливаться в свирепый, бессмысленный и беспощадный бунт. Бунт предстает как жажда праздника, как возможность проявить свою удачу, волю. Нечто подобное мы находим еще у гениального предшественника Бунина — А. С. Пушкина. В повести “Капитанская дочка” Пушкин словами главного героя повести Гринева говорит о страшной, разрушительной силе свирепого пугачевского бунта: *“Шайки разбойников злодействовали повсюду... состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”* [6, III, 308].

В русском мужицком бунте, который Бунин наблюдал в деревне во время революции 1905 года, его так же, как и Пушкина, поражала не столько жестокость, сколько нелепость и бессмысленность. Не задаваясь целью изображать его специально, он все же дал некоторые характеризующие его штрихи. Мужики в рассказе “Ночной разговор” во время бунта с барского быка, с живого, кожу сняли: *“Как пошли эти бунты, так они что делали: поймали его на поле, веревками обмотали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор, — разлетелся, грохнулся и околед тут же... кровью весь исшел”* [1, III, 273]. Нелепость и бессмысленность бунта показана в повести “Деревня”. В Дурновке у Тихона Красова бунтующие мужики *“зажгли в саду шалаши”*. Шорник же, громче всех оравший во время бунта и грозивший убить Тихона, после окончания бунта как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке Тихона и почтительно снимать шапку на пороге. Бунт в повести заканчивается безрезультатно: *“...Поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли”* [1, III, 30].

Уже в годы русской революции 1917 года И. Бунин подводит своеобразный итог своему художественному исследованию “вечной русской потребности праздника”: *«Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирующий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что — “карету мне, карету!”»* [2, 83].

Таким образом, утрата бытийной укорененности в русском крестьянстве, показанная И. Буниным в произведениях 1910-х годов, осознается им как едва ли не главная причина распада традиционных форм русской государственно-

сти. Бунин объясняет эту утрату устойчивыми чертами национальной психики, противоречиями русского национального характера, сосуществованием в человеке и в народной жизни в целом двух начал – “Руси” и “Чуди”: *«Есть два типа в народе. В одном пребывает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений... Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона”, – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает...»* [2, 62]. Катастрофические обстоятельства российской исторической жизни начала XX века еще более способствовали утрате, искажению или подмене в крестьянской жизни глубинных основ бытия, что неминуемо приводило к ощущению неподлинности и бессмысленности человеческого существования.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. / И. А. Бунин. – М.: Худ. литература, 1965. Все цитаты бунинского текста проводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
2. Бунин И. А. Окаянные дни / И. А. Бунин. – М.: Сов. писатель, 1991. – 176 с.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. Даль. – М.: Рус. яз., 1999. – Т. 1: А–З. – 1999. – 699 с.
4. Кузнецова Г. Грасский дневник / Г. Кузнецова. – Вашингтон, 1967. – 61 с.
5. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953 / Ю. Мальцев. – М.: Посев, 1994. – 432 с.
6. Пушкин А. С. Соч.: в 3-х т. – М.: Худ. литература, 1987. – Т. 3. Проза. – 527 с.

*Рецензент – О. В. Бердникова.*

Статья принята к печати 09.10.2006.